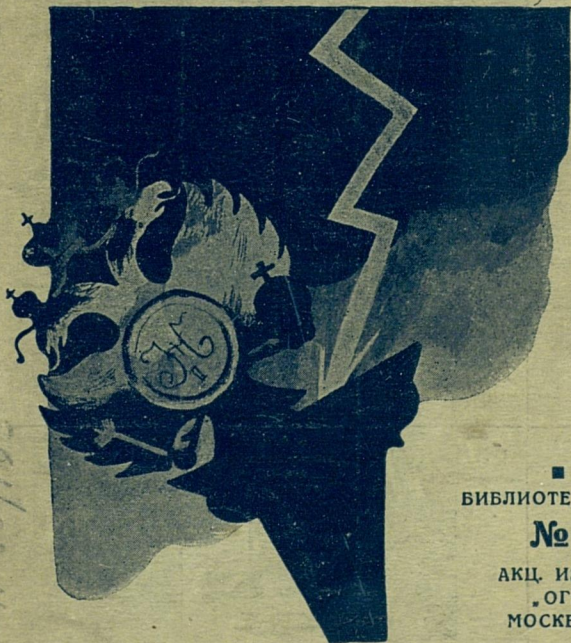


128 С. МСТИСЛАВСКИЙ  
АРЕСТ НИКОЛАЯ II

---

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ОКТЯБРЯ



■■■  
БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

№ 194

АКЦ. ИЗД. О-ВО  
„ОГОНЕК“  
МОСКВА — 1926

17.140.3.231 / 194 а

ер.м  
С. Д. МСТИСЛАВСКИЙ 17.140.

10(20)

1917  
АРЕСТ НИКОЛАЯ II  
—  
25 ОКТЯБРЯ

(ИЗ КНИГИ „ПЯТЬ ДНЕЙ“)

Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“  
Москва — 1926

17.140.3.231



Главлит № 66743.

Тираж 30.000—3 л.

Заказ. № 1402.



## АРЕСТ НИКОЛАЯ II ПЕТЕРБУРГСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ

9 марта, утром, когда я, по-обычному, пришел на работу в военную секцию Петроградского Совета, в глаза метнулось странное малолюдство в ее залах. В предшествовавшие дни, с самого переворота, у нас вечно была невероятная толкотня. Петроградский Совет попрежнему был еще на боевом положении, и хотя «по штемплю» он и звался Советом Рабочих — прежде всего Рабочих, а лишь затем Солдатских Депутатов, — на деле пульс очередного дня всего напряженнее и крепче бился именно в солдатской — военной — его части. В солдатской массе — ярче, острее переживался революционный перелом, разрыв со старым, привычным, только вчера развенчанным для него миром, от которого рабочий класс, если не на деле, — то хоть в мысли, хоть в песне, — отрекся уже давно. И если рабочих — минувший период борьбы, смена побед и падений ввели в «политику» и тем самым ввели в «компромисс» (ибо что такое «политика», как не искусство «компромисса»), то солдаты, безмерно далекие от всяких политических хитросплетений, мыслили «напролом»: компромисс 3 марта, вознесший над февральскими баррикадами «людей Временного



Правительства», так и остался для них, несмотря на все разъяснения «лидеров» — делом «темным»; внутренне они не приняли его, и правящим центром для революционного гарнизона Петрограда безраздельно был его «собственный» Совет: сюда, и только сюда — шли солдаты (и солдатки) со всеми своими нуждами, мыслями, подозрениями. В военной секции поэтому круглые сутки толпился народ. Каких только дел ни приходилось нам разбирать в эти лихорадочные, счет часам потерявшие дни! От вопросов об организации высшего командования, об офицерских правах (даже о «праве офицера носить оружие») и — вплоть до вопросов о разводе, крещении детей и т. п. Не перечесть.

И круг и численность этих вопросов ширились день ото дня. Тем страннее казался внезапный спад волны, сегодня — на десятый день революции. В комнатах секции было почти пусто. Я прошел в помещение Союза офицеров-республиканцев, разместившегося в исторических комнатах 41-й и 42-й, где в ночь переворота помещался наш повстанческий штаб. Но и там я застал всего двух-трех приезжих офицеров да дежурного по Союзу.

— Где же все наши?

— Было срочное распоряжение Исполкома с утра остаться при своих частях. Мы и вам звонили, да не застали уже дома.

— Что-нибудь случилось?

Дежурный пожал плечами: — Не должно быть. В городе тихо. Сейчас говорил по телефону с преображенцами и лейб-гренадерами. Нового ничего.

В коридоре столкнулся с секретарем Исполнительного Комитета. Как всегда, вихрястый, взлохмаченный, улыбающийся — концы длинного распущенного галстуха пляшут не

в такт его быстрой походке. Ухватил меня за пуговицу френча: — Вы почему не на заседании?

Исполнительный Комитет все эти дни заседал непрерывно, но мы, работавшие в военной секции, почти не заглядывали на заседания эти: там шла «высокая политика» — пляска по канату, с Милюковым на шее и Родзянкой, вместо балансира, в руках, занятие, которое мы, «крайние левые», искренно считали «беллетристикой». Мы не сменяли поэтому на нее — непосредственно-практическую и необходимую работу среди солдатских масс, торопясь закрепить ее за собой и изготавиться, таким образом, к той «борьбе за армию», исходом которой, по нашему сознанию, должен был разрешиться спор между «нами» и «ими», между Временным Правительством и Революцией.

Мы ходили в Исполком только по «своим», секционным, делам, если требовалось что-нибудь протемпелевать выше, или, как мы говорили, — «прочхеидзить». Исполком, со своей стороны, тоже не тревожил нас. И если на сегодня нас, военных членов Исполкома, вытребовали на заседание, — значит, действительно, предстояло «дело».

.....

Широко и гостеприимно раскрытые, обычно, двери чхеидзовского кабинета, в котором шло заседание, на этот раз оказались не только припертыми, но и строжайше охраняемыми. Караул был усилен, пропускали только членов И. К.: это тоже — признак.

Когда мы вошли, Исполнительный Комитет был уже в полном составе. И сразу почувствовалось настроение необычное.

.....

Правда, по внешности все идет как будто своим чередом. Н. Д. Соколов, разметаив всклокоченную бороду по жилету, в неизменном, фалдами разметающемся сюртуке, как всегда запальчиво, повышенно, закидываясь на каждой реплике оппонентов «с места», продолжает, видимо, давно уже начатую речь. Как всегда сухо и едко улыбается толстыми странно-бескровными губами желто-серое лицо Суханова. Как всегда, молчалив и внимателен — весь закругленный, «по-флотски» чистенький Филипповский. Как всегда, грузен жестом, мыслью и словом, заслоняющий худенькую остробородую, русую фигушку Скобелева — Стеклов.

Все как обычно. Но необычно напряжена атмосфера. Особо резко звучит сегодня акцент председательствующего Чхеидзе, и особо резко горят его утомленные, черные глаза.

Отрывистым шопотом сосед вводит меня в курс происшедшего: в ночь Исполком получил сведение, что Временное Правительство решило бывшую императорскую фамилию, во главе с Николаем II, только что, после растерянной мотни между Псковом и фронтом, вернувшимся в Царское Село, и «формально» (специальным актом Временного Правительства) лишенным свободы — «эвакуировать» сегодня — 9 марта — в Англию. Во избежание каких-либо эксцессов по дороге — сопровождать «фамилию» до Архангельска, где «высылаемые» должны были (под гром салюта, конечно) погрузиться на английское судно — взялся сам Керенский, — по должности прокурора... необъявленной Республики... Акт об «арестовании» оказался, как и следовало ожидать, только «маневром» для убаюкивания нашей бдительности.

Но Временное Правительство не рассчитало удара: слишком очевидно было, что «Архангельское бегство» есть пер-



вый шаг к реставрации опрокинутой, но еще «недобитой» монархии.

«Реставрация»... Это звучало слишком резко даже для меньшевистского Исполкома... В заседании 9 марта среди выступавших ораторов не оказалось, поэтому, двух мнений, перчатка, брошенная Временным Правительством, решившим этот — существеннейший для судеб Революции — вопрос единолично, за спиной Исполкома, — должна быть поднята...

Но как поднять ее? На этом — запинались ораторы. И в скольких речах и как ярко чувствовалось, что заседание наше перекрывала еще тяжелая тень «векового трона»...

Слишком долго и слишком путанно задерживались ораторы на вопросе о том, в какой мере «лично» опасен бывший монарх, и кто из великих князей может и должен подойти под категорию «угрожающих» будущей Республике... Мерсю опасности, естественно, определяется мера пресечения: вот почему — столь безудержно страстные в заявлениях своих об опасности монархии, члены И. К. тускнели, потупляли глаза, когда логическим ходом мысль заставляла их говорить о судьбе монарха. Были секунды, когда казалось, что столь страшное для меньшевизма, столь ранящее слух слово — «цареубийство» — уже готово спуститься на них... как огненные языки на головы апостолов... Но оратору перехватывал горло уже поднятый его мыслью звук — и вновь затягивала собрание зыбкая, туманная пелена — полупамятков, полупризнаний, полуклятв...

Все облегченно вздохнули поэтому, когда кто-то торопливо внес предложение о прекращении прений: «Время не терпит, пора к делу».

Чхеидзе ставит на голосование вопрос: — Допустить ли отъезд царской фамилии? Кто против?

Как одна, поднялись дружным, нервным взметом руки.

— Но если так, — надо принять меры к тому, чтобы подобные покушения стали раз навсегда невозможны: ведь Временное Правительство может повторить, при первом удобном случае, попытку. Республика должна быть обеспечена от возвращений Романовых на историческую арену. Стало быть, «опасные» должны быть в руках непосредственно у Петроградского Совета. У нас — не у «временных». Не у «временных»...

— Возражений нет? Более точную формулировку? Излишне: она определится событиями.

И снова — никаких разногласий. Переходим к практической части. Президиум осведомляет нас о предварительных мерах, принятых им уже с раннего утра. Весь состав верных Совету офицеров (союз офицеров-республиканцев) мобилизован. Рабочие боевые дружины в районах поставлены под ружье. Все вокзалы уже заняты ближайшими к ним воинскими частями под руководством специально командированных Исполкомом эмиссаров. Теперь, в связи с состоявшимся решением пленума и «сообразуясь с духом его» (еще раз мрачно блеснул глазами Чхеидзе) — остается довершить начатое — в Царском Селе, где находится царская фамилия. Отряд для этой цели — семеновцы и рота пулеметчиков, за которую головой ручаются ее офицеры — уже отправлен на Царскосельский вокзал. Исполкому надлежит только указать чрезвычайного эмиссара, который примет командование над этим отрядом и выполнит только что принятое решение.

Слово берет опять Н. Д. Соколов. Он формулирует требования, которым должен удовлетворять эмиссар — при наличии столь общей, столь туманно формулированной дирек-

тивы: ибо «решать» фактически придется там, на месте, и решением этим определится весь ход ближайших политических событий... «В таких условиях одинаково опасны — и горячность и нерешительность». «Любой ценой должна быть выполнена сегодняшняя задача, но цена, какова бы она ни была, должна быть определена без ошибки»...

Сосед, наклонившись, говорит мне что-то невнятное на ухо. Переспрашиваю, и в это время — слышу свою фамилию.

Обертываюсь.

Соколов мотивирует предложение моей кандидатуры. Я чувствую на себе взгляды собрания, настороженные, испытующие... Чхендзе спрашивает, согласен ли я принять поручение.

.....  
Исполнительный Комитет голосует. Против, воздержавшихся — нет.

«Поезжайте сейчас же. Отберите кого найдете нужным из ваших офицеров и трогайтесь. Мандаты сейчас получите. Автомобиль ждет. .»

.....  
Кого взять? Все наши офицеры уже в разгоне по вокзалам, в районах. В «Союзе» — попрежнему пусто: два-три знакомых по «первым дням» офицера... Из них — штабс-капитан Тарасов-Родионов, пулеметчик, сам вызывается ехать.

С ним одним и едем: на этого можно положиться целиком: спокоен и любит опасность.

Уже сидя в автомобиле, принимаю мандаты. Первый из них, на мое имя, гласит: «По получении сего немедленно отправиться в Царское Село и принять всю гражданскую и



военную власть для выполнения возложенного на Вас особо важного поручения». Второй — на имя Царскосельских властей: о подчинении и всемерной помощи мне «при выполнении порученного особо важного государственного акта».

. . . . .

У здания вокзала, на площадке, фронтом к главному в'езду, окруженный плотным кольцом зевак — строй семейцев, при офицерах; к левому флангу примкнулась рота пулеметчиков.

Здороваясь коротко, по-фронтовому. Отрывистая, гулкая команда, ряды вздвигаются, заходят. Обмотанные крест-накрест поблескивающими частью медью патронов лентами, пулеметчики вскапывают на руках по каменным ступеням приземистые, ворчливые пулеметы... У входа встречает нас Гвоздев, член И. К. (будущий министр труда), с огромной, красной розеткой в петлице. «Все пока идет, как по-писанному: телеграф и телефон заняты, начальник станции и комендант арестованы без сопротивления; вагоны для вас прицеплены к очередному поезду, и самый поезд задержан: немедленно по посадке можно отправиться».

Отмыкая на ходу лязгающие, темные штыки, ломая строй, рассыпаются по вагонам солдаты. Оцепление, выставленное занявшими вокзал егерями, осаждает пытающихся проникнуть на платформу любопытных. Некто особо юркий, в зябком пальтишке, с поднятым воротником, вывертывается, однако, в последнюю минуту сквозь цепь и подбегает к нашим окнам в тот самый момент, когда поезд без свистков и звонков медленно трогается.

— Куда вы?... Куда, — отчаянно кричит он, цепляясь за поручни переполненной солдатами площадки. И столько мольбы и неподдельного отчаяния в этом возгласе, что по

солдатским лицам — с площадки перекидываясь в вагон — лучом змеится улыбка.

— Ты кто? Откель взялся?

— От газеты... От «Русской Воли» корреспондент.

— Ах, язви те... Прими руки, шантрапа!

— Скажи там: поехали семеновцы — к царю в гости...

Берегись, под приклад попадешь...

«Корреспондент» выпускает поручень, беспомощно взмахивает рукой, припрыгивая на месте, в такт быстро набирающему ход поезду... И исчезает из вида.

Солдаты улыбаются еще секунду. Затем улыбка сбегает: хмурым, настороженным становится вагон...

Мы ехали без песен. И чем ближе было к Царскому — мрачнели сосредоточенные лица солдат, неотрывно смотревших в окнах, на мчавшиеся навстречу полосатые, напуганно кривившиеся верстовые столбы. Голоса становились хриплыми. — «В горле пересохло». А ведь ищем застылым разубраны были ели и сиротливые березы перелесков.

— Вы знаете? — озобоченным шопотом докладывает один из офицеров: — Мы почти без зарядов едем: у людей всего по двадцати патронов, и больше не захотели взять... винтовки не заряжены. Только у пулеметчиков комплекты. И, помолчав: — Как бы заминки не вышло, если...

— Ничего — перешагнут, если понадобится... Только заранее не надо людей нервить. А что до патронов — если дело до них дойдет — возьмем в Царском у стрелков. Там — на всех хватит.

Тарасов-Родионов предлагает учинить нечто вроде военного совета. Но я отклоняю предложение: советоваться не о чем. План действия для меня уже сложился; первые распоряжения я отдаю тут же. Остальные дам после высадки.

Не доезжая Царского, на последнем перегоне, снижался, снижался солдатский говор и затих. Среди жуткой, напряженной тишины подехали мы к вокзалу. Солдаты крестились, примыкая штыки...

Высадка прошла быстро и сноровисто. Сразу повеселели, подтянулись семеновцы, когда, покрякивая ржавыми голосами своих тяжелых колесиков, в перегон друг к другу выкатились на асфальт вокзала пулеметы. Телефон, телеграф заняты с разбега, без приключений. Начальник станции, оторопевший до дрожи в первый момент, отошел сразу, когда узнал, что арест его — негласный: все сводится лишь к безотлучному наблюдению приставленного к нему офицера. Команды разместились в зале III класса, составили ружья.

Комендант станции показался мне предупрежденным: на мое предложение потребовать к вокзалу автомобиль и вызвать немедленно в ратушу начальника гарнизона и коменданта Царского Села, он ответил торопливо:

— Они оба уже в ратуше.

— Я решил выехать в ратушу один, захватив с собой только Тарасова-Родионова и двух стрелков для связи; командование отрядом передал старшему после меня командиру семеновцев с наказом держаться настороже на случай каких-либо покушений со стороны местных властей, о настроях которых нам ничего не было известно, а в случае, если через час я не вернусь и не передам через ординарцев или по телефону дальнейших приказаний, идти с отрядом



в казармы 2-го стрелкового полка (по нашим сведениям, на этот полк, по революционности его, всецело можно было положиться), поднять стрелков и двинуться во дворец для выполнения возложенного на нас поручения: любой ценой — я повторяю, подчеркивая, — любой ценой обезопасить Революцию от возможности реставрации. Смотри по обстоятельствам — или вывезите арестованных в Петербург, в Петропавловскую крепость, или ликвидируйте вопрос здесь же, в Царском. Но так или иначе — чтобы это было надежно. Перед выступлением сообщите в Петербург по телефону.

— Только, пожалуйста, не вызывайте подкреплений, — смеюсь я в заключение. — Нарушите на этот раз традиции передовой линии. И пока что, распорядитесь, чтобы людей накормили...

Говорю — просто так, для порядка; если бы хоть на секунду поколебалось во мне твердое, радостное, внутреннее убеждение, что отряду не придется двинуться с вокзала, я, конечно же, никогда и никому не передал бы командования. Разве такие поручения передоверяют?

Подошел комендант в сопровождении нашего офицера (он тоже «на положении начальника станции»):

— Автомобиль подан.

Автомобиль — маленький, двухместный. Я сел с Тарасовым-Родионовым. На подножки стали с обеих сторон назначенные «для связи» ординарцы.

— В ратушу!

.....

«Военные власти» — два ровненьких, совершенно одинастных, даже одинаково лысых полковника, в аккуратно застегнутых сюртуках, с «Владимирами» в петлице — ожидали меня в одной из комнат верхнего этажа, драпировкой

отделенной от зала, где у канцелярских столов вокруг «столоначальников» целыми табунами толпились посетители. Я пред'явил свои мандаты. Полковники переглянулись.

— Передать командование... Но, ведь, извините, мы не Петроградскому Совету, а Временному Правительству присягали. А эти документы не имеют визы правительства. Значит, это сделано помимо его.

— Совершенно верно. Но должен ли я понять вас в том смысле, что вы... не склонны считаться с постановлениями Совета революционного гарнизона и революционных рабочих Петрограда?

Полковники опять переглянулись и враз затормошились.

— Что вы! Ведь Совет признан и самим Временным Правительством... Но вы же, как военный, должны понимать, что приказ может быть выполнен нами лишь в порядке подчинения. Мы подчинены генералу Корнилову, командующему войсками округа, и поскольку привезенный вами приказ расходится с данными генералом инструкциями, мы его исполнить, не нарушая воинской присяги, не можем. Впрочем, мы сейчас вызовем его к телефону.

— Если бы я нуждался для выполнения своего поручения в генерале Корнилове, я привез бы вам не только его подпись... Оставьте в покое Корнилова. Тем более, что в данный момент я вовсе не предполагаю принимать от вас, по силе этого мандата, дела и командование. От вас требуется сейчас только одно: проводить меня к бывшему императору.

— Императору?!

Один из полковников быстро потупился и отошел в сторону, второй нервным движением глубоко засунул руку за лацкан сюртука.

— Это совершенно невозможно. Мне формально и строжайше воспрещено даже называть кому бы то ни было дворец, в котором его величество находится.

— Вы отказываетесь?

— Я не отказываюсь, — торопливо трясет он головой, — но я должен предварительно получить разрешение генерала Корнилова.

— Опять!..

— Слушайте, господа. Вы знаете, конечно, что я прибыл сюда с отрядом. Вместо того, чтобы терять время на разговоры с вами, я мог бы попросту поднять ваш гарнизон — одним взмахом руки, одним боевым сигналом. И если я не делаю этого, то потому только, что уверен выполнить свое задание без грома и треска, один — не вынимая оружия из ножен. Одним именем народа. С вами, без вас — дело будет сделано. Но как оно будет сделано — за это ответите вы. Если вы вынудите моих солдат взяться за винтовки — вы будете отвечать за кровь. Последний раз: где находится бывший император?..

Комендант взглянул на начальника гарнизона, начальник гарнизона — на коменданта: и оба потупились...

— Да поймите же, что мы не можем... Присяга...

— Время идет. Пора кончать: в моем распоряжении только час... Или вы попробуйте меня арестовать, или я вас арестую.

Офицеры радостно подняли на меня глаза: выход был найден.

— Арестовать вас, как представителя Исполнительного Комитета, — мы не считаем возможным...



— Значит, не о чём разговаривать: вы арестованы, господа. И я спрашиваю вас уже, как арестованных: где бывший император?

— В Александровском дворце... Но вас туда не пропустят, даже если бы вы повезли нас с собой. Именной приказ Корнилова, — без его личного письменного распоряжения — не пропускать никого, хотя бы даже из министров.

Но я не слушал дальше: время действительно шло... Повернувшись к выходу, я увидел у драпировки телефонный аппарат... Перевести арестованных в другое помещение... Опять — лишняя нервность. Уже одно появление моих ординарцев вызвало заметное волнение в канцелярии. А мне хотелось иметь за собою тыл, по возможности, спокойным.

— Через час я окончу свое поручение. Дайте мне слово, что в течение этого времени вы не подойдете к телефону. Я оставлю вас тогда в этой комнате.

Опять переглянулись полковники. И ответили в голос: «Даем слово».

Тарасов-Родионов скучал в автомобиле. Я сел... «В Александровский дворец и — полным ходом, товарищ-шофер...»

У правого крыла дворца — наглухо припертые железные ворота. Часовой, видимо, опознав комендантский автомобиль, подошел на вызов, дружелюбно похлопал по крылу машины, но пропустить внутрь, за ворота, отказался наотрез. Запрещено настрого — под страхом расстрела. На силу добился вызова караульного начальника. Прапорщик,

совсем еще зеленый, по-детски важный и взволнованный, как всегда бывает с молодежью в «ответственных» караулах, торопливо подтвердил запрет. «Никого и ни в коем случае».

— Я прислан с особо важным поручением от Петербургского Исполнительного Комитета. Что же мне — тут, на морозе — показывать свои документы. Никакая инструкция не предусматривает всех возможностей. И — вы меня простите, прапорщик, — не мне у вас, а вам у меня учиться...

Еще минута колебаний — и первый, труднейший шаг сделан: мы за решеткой, в помещении наружного караула. Тарасов остался в автомобиле — замещать меня — «на случай».

Я показываю прапорщику свои документы.

Юноша совершенно растерян.

— Что же вам угодно?

— Пройти во внутренний караул.

— Но я и сюда не имел права пустить вас. Генерал Корнилов...

Опять это сакраментальное имя... Выплывает в памяти лукавое, под маской «солдатского» простодушия лицо, на недавнем заседании Исполкома с участием генералитета, — вкрадчивая речь «о великой чести командовать революционными войсками, первыми сбросившими иго...». Отчего, в глубине этих глаз, обводивших тогдашнее собрание наше таким ласковым, глядящим взглядом, чудилась затаенная, втянувшая в себя когти, как тигр перед прыжком, непримиримая злоба?..

— Приказ Корнилова... Есть приказы звучнее: «Именем Революционного Народа». Вы проводите меня во внутренний караул.

— Но я не могу отлучиться с поста... Разрешите вызывать дворцового коменданта.

— Вызывайте, но — ни слова лишнего.

. . . . .

Короткое молчание: ждем. Прапорщик нервно опрашивается. У притолоки разводящий упорно, хмуро смотрит в пол на мои сапоги.

Комендант, ротмистр Коцебу, появился через несколько минут. Круглый, подфабренный, подчищенный, вихляющий задом под кургузым уланским виц-мундиром. Взаимное представление. Прапорщик докладывает. Коцебу читает мои документы.

— Во внутренний караул? Ничего подобного. Начальник караула будет отвечать уже за то, что он пропустил вас за ворота. Мы имеем строжайшее распоряжение законной власти...

— А Совет — власть незаконная по-вашему, ротмистр? Начальник караула ни за что не будет отвечать. А вот вы, господин комендант... У вас, видимо, короткая память: с 27 февраля прошло всего 10 дней.

— Но ваш... comment dit-on... Исполнительный Комитет должен понимать, что нельзя ставить людей в такое положение... Ваш же Совет признал Временное Правительство, как признаем его мы. А вы хотите, чтобы не выполняли его приказаний и слушались воли...

— Чьей воли, ротмистр?

На секунду — наши взгляды скрестились... Коцебу закусил ус. Я улыбнулся.

— Досказать за вас? Не только «власти», — но и силы. Улан оглянулся на дверь.



— Не пугайтесь, я один. Прибывший со мной авангард революционного Петроградского гарнизона остался, пока, на станции. Ну, что же, идемте?

— Я сейчас протелефонирую Корнилову.

— Вы этого не сделаете.

Коцебу вздернул голову и смерил меня — с головы до ног. Повернулся и пошел к аппарату.

Я сделал шаг вперед... «В таком случае, ротмистр, вы арестованы».

Разводящий у притолоки вздрогнул, выпрямился и застыл. За дверью звякнули винтовки подымавшихся солдат.

Коцебу остановился, посмотрел на караульного начальника, на ефрейтора, пожевал губами и, поведя ожирелым плечом, процедил сквозь зубы:

— Вы применяете силу? Что же, ваше дело, идемте...

По каким-то проулкам, темными переходами, мы прошли в широкий подземный коридор, мимо запертых засовами, забитых дверей, около которых лишь кое-где застыло серели фигуры часовых. Наконец, послышался гомон, гул перекрестных голосов, — коридор вывел в обширную, скупо освещенную электрическими лампочками комнату, переполненную солдатами, за нею — вторая, такая же и так же переполненная: на беглый подсчет — не меньше батальона.

— Здорово, товарищи! Поклон от Петроградского гарнизона, от Солдатского Совета.

Бодро и душевно, бесстройно отзывается казарма. Лежавшие подымаются с нар, грудятся к проходу. Коцебу, вобрав толстую шею в тугую воротник, торопится дальше.

— Какой полк?

— 2-й стрелковый.

Я остановился: мгновенно выросла вокруг толпа. В коротких, резких словах разъяснил я солдатам, в чем дело, — зачем меня прислал сюда Совет. И сразу — посумрачнели глаза, двинулись брови, ощетинилась только-что ласково гудевшая, беззаботная казарма.

— Мирно, по-доброму, без крови, товарищи. Но твердо. как революционный народ хочет, так тому и быть. Петроград на вас надеется, — видите, я один пришел к вам: вам передаем мы это дело... не выдадите.

— Не выдадим, товарищ. — Статочное ли дело...

— Разве мы не понимаем. Пока от Совета приказа не выйдет — не сменимся... Пока стоим, не вывезут — ни прямым ни обманом...

Кто-то схватил меня за руку. Обернулся: нахмуренный, взволнованный поручик.

— Что вы делаете? Идите скорее — офицеры вас ждут.

Следом за ним я прошел в комнату, где толпилось вокруг ораторствовавшего Коцебу человек 20 офицеров. Все были явно и резко возбуждены. Не успел я войти, как был охвачен тесным угрожающим кольцом. Заговорили впереводку.

— Это бог знает, что такое... Возмутительно... Только что стали успокаиваться — опять мутить, опять разжигать...

— Одну минуту, господа, — перекрикивает разногласный хор, знакомый по лицу, где-то давно виденному, немолодой уже прапорщик. Вспоминаю, кадет из младших «лидеров», — приходилось встречаться на междупартийных совещаниях. Он оттягивает меня за рукав в дальний угол — за драпировку.

— Вы меня узнали? Вы меня помните? Значит, можете мне поверить... Вы затеяли игру с огнем... Убить императора в его дворце, поскольку он под нашей охраной, — полк не может допустить. Если комендант города, комендант дворца пропустили вас, это дело их совести... Но наши офицеры...

Я искренно засмеялся... — Разве у меня вид Макбета или... графа Палена?... это имя более знакомо гвардии. И разве каждый социалист-революционер уже обязательно царевубийца?

— Но Коцебу говорит...

— За то, что говорит Коцебу, он и ответит... Я отвечаю за себя — только.

— По его словам, в вашем документе...

— Вот мой документ.

— Коцебу прав: ваше поручение... страшно отредактировано... страшно иного слова не подберу: в нем есть мандат на царевубийство.

— В нем есть худшее, если хотите. Но Коцебу, все-таки напугал... Господа офицеры!...

Рассказываю о плане «Варренского бегства», о решении Исполкома. И по мере того, как я говорю, как будто спокойнее становятся офицеры, только немногие, из старших, продолжают нервничать.

— Пусть так... Но все же... врываться во дворец, отстранять полк, так как вы его отстранили... И восстанавливать солдат против офицерского состава... Мы знаем, что у вас в Петрограде делается! Что вы им говорили?

Но младшие перебивают, оттирают потихоньку капитанов.

— Вы напрасно тревожились там, в Исполкоме. Стрелки безоговорочно примкнули к революции. Вы знаете, вчера,



когда приехал бывший император, мы чуть не с бою заняли караул: сводно-гвардейский полк ни за что не хотел сменяться, а мы ему не верим... Не можем верить; ведь он составлялся по особому отбору—там, что ни человек—чья-нибудь креатура. Мы все-таки добились своего. И ваше недоверие, согласитесь сами, не может не оскорблять нас...

— При чем тут недоверие! Если бы оно было, я не пришел бы так, как я есть, а привел бы к вам, под дворцовые стены, хоть целый корпус: Петроград и Кронштадт — не оскудели еще... Но поскольку арест может быть проведен со всей строгостью и здесь, без вывоза в Петропавловскую крепость...

— Вывести «его» мы не дадим, — мрачно говорит, отворачиваясь, старый капитан.

— Не провоцируйте меня, пожалуйста. Вы сами отлично знаете, что будет вывезен и он, и вы, и кто угодно, если бы это оказалось нужным. Но лишнего шума, еще раз, Совет отнюдь не собирается делать. Поэтому бросьте этот тон. Я не вижу надобности в увозе после того, как поговорил с солдатами. По крайней мере, в данный момент. Солдаты обещали не сменяться до получения приказа от Петроградского Исполнительного Комитета...

Офицеры, отойдя к окну, о чем-то совещаются вполголоса. «От имени полка» отделяется от группы один из старших офицеров—«я даю вам слово, что пока полк будет занимать дворцовые караулы, ни бывший император, ни его семья из этих стен не выйдут. А нести караулы полк будет бессменно, хотя бы для этого нам месяц пришлось не снимать оружия, вперёд до получения указаний от Петроградского Совета. Вы удовлетворены?».

— Вполне. Нам остается только условиться о мерах охраны.

Приносят план дворца и прилегающей территории, роспись постов и караулов; по схеме охраны — дворец отгораживается тройным рядом караулов и застав. Кроме того, правое крыло дворца, в котором находится Николай, наглухо изолируется от левого, отведенного бывшей императрице и детям. По инструкции — никто, не только из членов бывшей императорской фамилии, но и прислуги, ни под каким предлогом не выпускается за дворцовую черту. Каждый, вошедший во дворец, с разрешения Временного Правительства, — тем самым становится арестованным. Обратного хода ему уже нет. Даже врач, пользующий больных детей Николая Романова, входит к ним только в сопровождении дежурного офицера.

— Будьте уверены: и мышь не проберется...

На очереди последний акт: проверка караулов. «Убедитесь сами, что капкан защелкнут наглухо».

— Да, но для этого мне надо еще предварительно убедиться, что «зверь», действительно, в капкане... Вам придется пред'явить мне арестованного...

Собеседники мои даже вздрогнули. И, нахмурившись, потемнели сразу...

— Пред'явить императора? — Вам?... Он никогда не согласится...

— Что за мысль? Да — ведь это хуже, чем...

— Не стесняйтесь: чем царубийство. Совершенно верно. Поэтому то я и настаиваю...

— Бесцельная жестокость... — горячится юный, безусый еще, во френче с иголки, подпоручик. — Ведь вы на

самом то деле нисколько не сомневайтесь, что он здесь, внутри оцепления... Что же, по-вашему, полк станет комедию ломать, стеречь пустые комнаты, что ли? Мы все видели его. Мы даем вам честное офицерское слово, что он замкнут. Вам недостаточно нашего честного слова? Вы не верите офицерскому честному слову?

Опять звучит в голосах угроза. И мирный исход, только что казавшийся обеспеченным, начинает подергиваться зловещей, багрянеющей дымкой. Потому что, чем резче, чем горячее убеждают меня офицеры, тем яснее для меня вся важность, вся неопенимая важность этого «пред'явления», о котором я, в первый момент, сказал почти что машинально: просто казалось мне нелепым вернуться в Петербург с докладом о ликвидации царского от'езда, о закреплении Романова в царскосельском аресте, не выдав самого арестованного. Настроение офицеров, их яростный внутренний, психологический протест прояснили мне сознание: я понял, что этот акт унижения — да, унижения — необходим; что даже не в аресте, а именно в нем существо моего сегодняшнего посланничества. Ни арест, ни даже эшафот не могут убить — никогда не убивали — самодержавия: сколько раз в истории проходили монархи под лезвием таких испытаний, и каждый раз, как феникс из пепла погребальным казавшегося костра, вновь воскресла, обновленная в силе и блеске, монархия. Нет, надо иное. Тем и чудесен был давний наш террор, что он обменял на физиологию — былую мистику «помазанничества»... И теперь — пусть, действительно, он пройдет передо мной, по моему слову, перед лицом всех, что смотрят сейчас со всех концов мира, не отрывая глаз, на революционную нашу арену, пусть он станет передо мной простым эмисса-



ром революционных рабочих и солдат, — он, император, «всё Великие и Малые и Белые России Самодержец...», как арестант при проверке в его былых тюрьмах... Этому ему не забудут никогда: ни живому ни мертвому...

. . . . .

Я категорически требую пред'явления.

Офицеры почувствовали, что в этом пункте я не уступлю и вызвали графа Бенкендорфа, церемониймейстера. Если офицеры вздыбились, легко представить себе, что случилось со стариком. Он весь, в буквальном смысле, запенился и в первый момент не мог произнести ни слова. «Пред'явить... его величество... Что за наглое слово... И кому... бунтовщику!.. Будем называть вещи своими словами: бунтовщику?!!».

Он наотрез отказался «даже доложить об этом его императорскому величеству».

Опять начались пререкания. Я вынул часы: «Скоро час, как я уехал со станции, на которой меня ожидает мой отряд: если я сейчас не сообщу командиру отряда, что все идет благополучно — это будет сигналом. Через четверть часа семеновцы будут у дворца, — а Петербург двинет вслед за моим авангардом свои войска на Царское. Судьба Временного Правительства, бывшей династии, всей России, наконец, снова станет на карту. И гадать ли, чья карта будет бита? Реальная сила, действительная сила — у нас в руках безраздельно. Прислушайтесь к вашим подземным казармам. Разве мне недостаточно вынуть из ножен пашку? И ответственность за то, что произойдет, падет полностью на вас: я сделал все, чтобы избежать крови. Не теряйте же времени понапрасну. Колесо истории не удержат, оно перемелет вам ваши мизинцы»...

Новая делегация к Бенкендорфу. На этот раз, после недолгой борьбы (я следил за минутной стрелкой), церемониймейстер, в свою очередь, — «уступил насилию». «Он будет, конечно, жаловаться, от имени всех, на неслыханное издевательство: Временному Правительству, генералу Корнилову... «Вы жестоко поплатитесь!» — «С наслаждением. Но к делу, к делу».

Устанавливается ритуал. Император будет мне пред'явлен во внутренних покоях, у перекрестка двух коридоров: он пройдет мимо меня, а не навстречу. Я от души расхохотался: «Сделайте одолжение, если вас и его может утешить этот... котильон»...

Пока «предваряли монарха», я позвонил на станцию предупредить о скором своем возвращении, и в наружный караул, чтобы впустили в караульное помещение дежурившего в автомобиле Тарасова-Родионова. Оказалось, впрочем, что он давно уже там, и самым мирным образом обедает с караульным начальником.

На «пред'явление» со мной пошли начальник внутреннего караула, батальонный, дежурный по караулу, рунд. Долго, демонстративно-долго возились с тяжелым висячим замком массивной входной двери, запертой еще, кроме того, на ключ. У двери этой стоял сильный караул — ближайший к арестованным воинский пост; внутри замкнутого оцеплением крыла дворца не было ни одного солдата: мера, в высшей мере рациональная — ибо она раз навсегда исключала возможность общения арестованных с внешним миром — неизбежного, если бы «узники» могли подойти к страже. Ибо, как доказывает извечный опыт, — нет стражи, которая устояла бы перед соблазном жалости, уважения

или подкупа... А при данной системе Николай Романов оказался, в буквальном смысле слова, «замурованным» в этом — наглухо, без малейшей связи, отрезанном от мира дворцовом крыле, со своими лакеями и поварятами.

Но внутри этой клетки все было оставлено Временным Правительством попрежнему — так, как было оно до катастрофы, в былой расцвет «Большого Императорского Дворца», со всей его роскошью, со всем его ритуалом. Когда сквозь распахнувшуюся, наконец, с ворчливым шорохом дверь, мы вступили в вестибюль, — нас окружила — почтительно, но любопытно, — фантастической казавшаяся на фоне «простых» переживаний революционных этих дней — толпа придворной челяди. Огромный, тяжелый, как площадной Александр Трубецкого — гайдук, в медвежьей, чаном, шапке; скороходы; придворные арапы, в золотом расшитых малиновых бархатных куртках, в чалмах, острыми носами загнутых вверх туфлях; выездные — в треуголках, в красных, штампованными императорскими орлами отороченных перелинах. Бесшумно ступая мягкими подошвами лакированных полусапожек, в белоснежных гамашах — побежали перед нами вверх, по застланым коврами ступеням, лакеи «внутренних покоев»... Все по-старому: словно в этой затерянной среди парков дворцовой громаде — не прозвучало и дальнего даже отклика революционной бури, прошедшей страну из конца в конец.

И когда, поднявшись по лестнице, мы «следовали» сквозь гостиные, «угловые», «банкетные», переходя с ковров на лоснящийся паркет и вновь коврами глуша дерзкий звон моих шпор, — мы видели, у каждой двери застывшими парами — лакеев, в различнейших, сообразно назначению комнаты, к которой они приставлены, костюмах: то тради-



ционные черные фраки, то какие-то кунтуши... белые, черные, красные туфли, чулки и гамаши... А у одной из дверей — два красавца лакея в нелепых малиновых повязках, прихваченных мишурным аграфом, на голове — при фраке, белых чулках и туфлях...

В верхнем коридоре (под стеклянной крышей), обращенном в картинную галерею, — нас ожидала небольшая кучка придворных, во главе с Бенкендорфом; здесь же вертелся, еще до нас, «при переговорах», проскочивший Коцебу. Придворные были в черных, наглухо застегнутых сюртуках. Шагах в шести-восьми от места нашей встречи со свитой коридор пересекался накрест другим: по нем-то и должен был выйти ко мне бывший император.

Я стал посредине коридора, правее меня Бенкендорф, по левую руку Долгорукий и еще какой-то штатский, которого я не знал в лицо. Несколько отступя кзади, стояли пришедшие со мной офицеры.

Бенкендорф, не сдержавшись, стал мне шептать на ухо (здесь все говорили вполголоса — ведь «его величество изволили быть в соседних покоях») что-то об «оскорблении величества», о том, что «только исключительная снисходительность монарха, его искреннее желание сделать все, чтобы успокоить своих заблудших, — но верных, что бы там ни говорили... верных ему подданных — заставило его пойти навстречу моему заявлению, которому он лично, Бенкендорф, не находит названия...». Мое имя ему известно; он знал отца, помнит деда. «И как вы, именно вы, с прошлым вашего рода, могли пойти на такое оскорбление величества!.. Если бы еще кто-нибудь из этих *ragueus*, там в Таврическом, из этих, как они называются: на «идзе». Но вы! И в таком виде!».

Вид у меня, действительно, был «Разинский»: ведь со дня переворота почти не приходилось раздеваться. Небритый, в тулупе, с приставшей к нему соломой, в папахе, из-под которой выбиваются слежавшиеся всклокоченные волосы. И эта рукоять браунинга, вынутого из кабуры, так назойливо торчащая из бокового кармана. Долгорукий не сводит с нее глаз...

Где-то в стороне певуче щелкнул дверной замок. Бенкендорф смолк и задрожавшей рукой расправил седые бакенбарды. Офицеры вытянулись во фронт, торопливо застегивая перчатки. Послышались быстрые, чуть призывающие шпорой, шаги.

Он был в кителе защитного цвета, в форме лейб-гусарского полка, без головного убора. Как всегда, подергивая плечом и потирая, словно умывая, руки, он остановился на перекрестке, повернув к нам лицо — одутловатое, красное, с набухшими, воспаленными веками, тяжелой рамой окаймлявшими тусклые, свинцовые, кровавой сеткой прожилок передернутые глаза. Постояв, словно в нерешительности, — потер руки и двинулся к нашей группе. Казалось, он сейчас заговорит. Мы смотрели в упор, в глаза друг другу, сближаясь с каждым его шагом. Была мертвая тишина. Застылый, желтый, как у усталого, затравленного волка, взгляд императора вдруг оживился: в глубине зрачков, словно огнем, полыхнула, растопившая свинцовое безразличие их, — яркая, смертная злоба. Я чувствовал, как вздрогнули за моей спиной офицеры. Николай приостановился, переступил с ноги на ногу и, круто повернувшись, быстро пошел назад, дергая плечом и прихрамывая.

Я выпростал засунутую за пояс правую руку, приложил ее к папахе, прощаясь с придворными, и, напутствуемый

шипением брызгавшего слюной Бенкендорфа, двинулся в обратный путь. Мои спутники подавленно молчали. И только в вестибюле один из них, укоризненно качнув головой, сказал: «Вы напрасно не сняли папахи: государь, видимо, хотел заговорить с вами, но когда он увидел, как вы стоите...»

А другой добавил: «Ну, теперь берегитесь. Если когда-нибудь Романовы опять будут у власти, попомнится вам эта минута: на дне морском сыщут»...

«А Бенкендорф, Бенкендорф-то! Все-таки трогательно. Эдакий преданный старик...».

На вокзале меня встретили нескрываемой, шумной радостью. Весело звенели «освобожденные от ареста» телефонные звонки, словно наверстывая вынужденное свое молчание. Начальник станции, раскрасневшийся, неудержимо говорливый, хлопотал о вагонах. Солдаты, разобрав винтовки к посадке, воинственно щелкали затворами, словно насмехаясь над их ненужностью. И в путь тронулись с такой перекаточной песнью, словно гора с плеч свалилась у всех. И радостно было сидеть в спертom воздухе набитого битком, махоркой задымленного до тумана вагона: так любовно смотрели прямо в глаза хмурые поутру семеновцы... Тарасов-Родионов вкусно рассказывал о дворцовой кухне, на которой он успел побывать, и о том, как пышно кормят «арестованных венценосцев».

Только под вечер попал я в Исполнительный Комитет: пришлось первоначально проехать на Варшавский и Балтийский вокзалы — снимать охрану. Первый доклад сделал, прямо с вокзала уехавший на броневике в Тавриче-



ский, Тарасов-Родионов. Мне пришлось только дополнить его сообщение, по необходимости краткое, так как он во внутрь дворца не входил. Председательствовавший на заседании Скобелев, передав мне благодарность Исполкома, сообщил о состоявшемся с Временным Правительством соглашении, в силу которого при арестованных будет отныне состоять специальный — обеими властями «аккредитованный», комиссар Исполнительного Комитета по арестованию и содержанию под стражей особ бывшей императорской фамилии. Он тут же вручил мне мандат на это звание, выразив надежду, что я продолжу начатое 9 марта дело так же, как... и т. д. и т. д.».

Меньшевики никогда не отличались чуткостью. Скобелев искренно был удивлен, когда я отказался от предложенной «честь» наотрез. Ни он, ни Чхеидзе не поняли, что съездить в Царское, как ездили мы 9 марта, и быть «комиссаром по арестованию» — не одно и то же...

Впрочем, врученный мне мандат я захватил с собой, на память ребятам.

Через день появилось официальное сообщение Совета о событиях 9 марта. Я «не узнал» своей поездки; там говорилось о том, как мы «охватили плотным кольцом броневиков, пулеметов, артиллерии — дворец», и тому подобное...

— К чему это? — спросил я в душевной простоте составителя отчета. — Ведь вы же знаете, что на всем пути я прошел один, одним — «Именем Революции».

— Пустое! Так гораздо эффектнее. Разве в отчете можно так? Романтика! Это для кисейных девиц годно, а не для рабочих и солдат...

## 25 ОКТЯБРЯ

Восемь часов утра.

Задорно и весело застучали в дверь спальни стальные дула винтовок.

— Гей-да! Заспался! А мы уже Государственный банк заняли...

Голоса матросов — товарищей Кронштадтской организации. Открываю:

— Вы зачем?

Ввалились гурьбой, знакомые и незнакомые. Все одинакие, ровные, улыбающиеся, радостные, вооруженные до зубов. Так и пышет от них жизнью. Смеются:

— За солью зашли.

— За какой солью?

— Керенскому на хвост посыпать. Чтобы не улетел...

— И не чирикал, — добавляет старшой, приземистый, рыжий, заросший до самых бровей, из-под которых ласково глядят серые, ясные глаза.

— Ну и шарод! А резолюция?..

(Несколько дней назад я ездил в Кронштадт по вызову тамошней организации и на партийном совещании, после митинга в Морском манеже, принята была совершенно единодушная резолюция: до Съезда Советов — не выступать).

— Резолюция? Одно дело — резолюция, другое дело — революция. Подпоясывай чресла, батя. В городе порохом пахнет...

В городе, впрочем, порохом не пахло: власть фактически лежала на земле. Чтобы поднять ее, не-зачем было «опоясываться»: достаточно было нагнуться...

\* \* \*

На самом деле. Уже с первых мартовских дней Временное Правительство явственно и быстро двинулось под уклон: его обреченность стала очевидной уже в эпоху апрельского и майского кризисов, приведших к премьерству Керенского, как последней ставке буржуазии. Прививка чернов-авксентьевского социализма к милюковскому стволу, как и следовало ожидать, лишь ускорила распад древесины третьемартовского «дерева свободы». В решающей для дальнейших судеб движения борьбе между «правыми» и «левыми» за армию, Керенский, с его причудливым штабом из социал-революционеров и архи-гвардейцев, безнадежно и головокружительно проиграл. После же июньского наступления, — судорожной попытки «премьера» выпрямить свой отчаянно прогибавшийся политический фронт, — развал власти стал развиваться в буквальном смысле катастрофически: в момент корниловской авантюры Керенский был уже политическим мертвецом. А поскольку мартовская власть им начиналась и им кончалась, — его «кризис», его катастрофа были, естественно, кризисом и катастрофой всей власти в целом.

Соответственно этому, быстро и уверенно росло в массах влияние большевиков, единственной революционной группы, от первых дней открытого своего выступления перед



массами последовательно проводившей лозунги немедленного «реального» мира и «наглядной» до полной «экспроприации экспроприаторов» доведенной Социальной Революции. Особую силу приобрела их агитация с приездом Ленина, на 1-м же, майском съезде крестьянских депутатов выступившего с предложением «пощупать капиталистов», — и вместо «землеустроительной канители», со всяческой статистикой и тому подобным крючкотворством, приступить к непосредственному захвату земель.

Первую атаку Ленина на крестьянство «старым» социалистическим партиям удалось, впрочем, кое-как отбить. Помню, какой переполох в Исполкоме вызвало сообщение о выступлении Ленина на крестьянском съезде, привезенное запыхавшимся, прямо с поля брани, «ординарцем» «командующего Исполкома» Чхеидзе. Как искали меньшевики «инока», которого можно было бы послать против этого... печенег, — инока, достаточно мускулистого на язык, потому что в прениях «печенег» был тяжел на удар, а «трудовое селянство», как известно, склонно к глумлению... Метались между Богдановым и Скобелевым и кончили тем, что (стиснув зубы) попросили ехать Марусю Спиридонову... Съезд, по выражению Чхеидзе, «удержался на наклонной плоскости»; крестьянство осталось за народниками; зато в армии — пропаганда немедленного мира и «братания» быстрее быстрого вырвала почву из-под ног насаженных Керенским комитетов и комиссаров. Еще больший отклик находили идеи большевизма и в рабочих кварталах. В итоге: основной лозунг левых, революционного крыла «движения» — «Вся власть Советам» к осени стал подлинным боевым кличем масс, еще ждавших своей Революции, так как февральский переворот не изменил ни в чем их положения: он не дал им — ни мира,

ни земли, ни хлеба, ни воли... И Ленин, чутко воспринимавший эту напряженность, торопил Центральный Комитет «покончить». «Довольно тянуть канитель,—писал он во время „Демократического Сопения“, — нужно окружить войсками Александринку, разогнать всю шваль и взять власть в свои руки». Центральный Комитет, памятуя июльскую «пробу сил», — не согласился, однако, с «Ильичем». Это нимало не остановило Ленина: он переехал на свой риск в Петроград из финляндского своего подполья и приступил, не теряя дальнейших слов, к организации восстания, публикуя в нем, вопреки всяким «стратегическим правилам», целые фельетоны в газете.

В руководящих политических кругах левого социалистического крыла этот ленинский призыв к немедленному восстанию встретил значительную оппозицию: на собраниях и митингах большинство ораторов выступало против него.

Но выступления эти казались, однако, нам самим «обремененными». Правда, на митингах солдаты и рабочие хлопали нашим ораторам, но чувствовалось, что хлопают голосу, звуку, а не смыслу слов: думают же, попрежнему, «свое». И перед этим «своим», — какую силу могли иметь в те дни, все рассуждения наши «о системе власти», «о приоритете социального», «о переходном периоде» и т. д., в сравнении со столь полновзвучными и понятными всей возбужденной подъемом массе, — боевыми призывами Ленина.

.....

Перекрыть эти призывы противникам выступления было нечем. И поэтому большевики были бесспорными и единственными хозяевами положения. Северная область, ее Советы и ее гарнизоны, включая петроградские полки, были всецело в их руках; им был, таким образом, обеспечен и



фронт и ближний тыл предстоящих действий. 10—12 октября Съезд Советов Северной области торжественно обещал полную свою поддержку грядущему перевороту. 21 октября экстренное общее собрание полковых комитетов петроградского гарнизона приветствовало уже, единогласно принятой резолюцией, «образование Военно-Революционного Комитета», первого боевого органа уже «становившейся» новой Советской власти, и гарантировало ему всемерную помощь во всех предстоящих его шагах. 22-го — «День Петроградского Совета» проведен был, на многотысячных митингах, с огромным подъемом. В Народном доме Троцкий, своей речью, сумел настолько наэлектризовать толпу, что тысячи рук одним порывом поднялись по его призыву, присягая на верность Революции, на борьбу за нее — до смертного конца.

.....

Глазом затравленного зверя следил Керенский за всплесками раскованной вновь, непокорной уже ему — народной стихии. С тех пор, как в июльские дни он подписал ордера на арест виднейших «левых» товарищей по партии, он перестал уже стесняться перед ними. В беседах — он зло кривил губы: «Черны!»... Если бы у него были под рукой достаточные силы, с каким сладострастием смотрел бы он, как врезают кровавый след эскадроны в толпы «взбунтовавшихся рабов» — «мятежного охлоса», как шипел из другого угла, не менее его налуганный и не менее его растерянный, селянский министр, говорун и бонмотист Виктор Чернов. Но сил не было: Керенский мог в Петрограде, с грехом пополам, рассчитывать лишь на казачьи полки (1-й, 4-й, 14-й), и при том рассчитывать больше по русской правительственной традиции, чем на основании каких-нибудь реальных данных. Былой «оплот» Родзянки — юнкерские училища, оставались,



правда, реакционными попрежнему, но они были так невыгодно, в тактическом отношении, расположены... вперемежку с верными Военно-Революционному Комитету войсками, что их заранее нужно было считать парализованными: В.-Р. К. мог ликвидировать их в любой момент, одним взмахом, если бы они вздумали пошевелиться. Загородные части: Петергоф, Гатчина, Царское Село?... На них восемь месяцев тому назад рассчитывало царское правительство, оттягиваясь к Зимнему дворцу... И обманулось. Мог ли забыть это Керенский, оттягивая, жестом однозвучным, свое правительство и свои войска к Зимнему дворцу в октябрьские дни своего заката?..

Тем не менее, он отдал приказ о выступлении в Петроград наиболее надежным, с правительственной точки зрения, окрестным войскам: ударному батальону, стоявшему в Царском, артиллерии в Павловске, школе прапорщиков в Петергофе... В ответ на вызов этот, Военно-Революционный Комитет подал, не теряя ни минуты, боевой сигнал.

Как рванулись в дело матросы, гвардейские полки, красногвардейцы... красногвардейцы, особенно! Июль был для них «Нарвой». «После Нарвы — Полтава».

Около 2 часов ночи на 25 октября войсками Военно-Революционного Комитета заняты были вокзалы, мосты, электрическая станция и телеграф... Керенский призвал казаков «выступить во имя свободы, чести и славы родной земли на помощь Ц. И. К. Советов, революционной демократии, Временному Правительству и гибнущей России». Но казаки отказались. «Ежели бы пехота пошла, тогда дело другое. А без пехоты нам идти не с руки...». Они остались нейтральными. Заявило о нейтралитете своем и Па-

вловское училище, ссылаясь на близость Гренадерского полка, уже примкнувшего штыки по призыву Петроградского Совета. Подкреплений из окрестностей не прибыло. Не отозвались на правительственный вопль и броневики, которые Керенский, как выяснилось позднее, считал по какому-то недоразумению за собою: большая часть объявила себя за восстание, остальные сохранили нейтралитет. К семи часам утра телефонная станция была уже в руках Военно-Революционного Комитета: аппараты Штаба Петроградского Округа были немедленно выключены и, тем самым, всякое руководство обороной стало невозможным. Керенский бросился в автомобиль, спеша выскользнуть из смыкавшегося уже вокруг него железного кольца. И было время: еще немного, и ему «насыпали бы соли на хвост»: кронштадтские матросы, торопясь к развязке, уже высаживались на Николаевской набережной...

В 10 часов утра Военно-Революционный Комитет обнародовал извещение о состоявшемся перевороте:

«К гражданам России!»

«Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов — Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона».

«Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

В городе, несмотря на переворот, повторяю, «не пахло порохом». От Керенского отрекся даже «Совет Республики»,



еще 24 октября отказавшийся поддерживать своим «авторитетом» его репрессивные меры против большевистских газет. Гоц-Либердановский Ц. И. К. в последнем, экстренном, ночном заседании своем (на 25-е) только хватался за голову. Напрасно дергал за ниточки режиссер этого марионеточного театра, незримый за кулисами, но ощутимый в лепете эсеров и меньшевиков. Абрам Гоц. Ц. И. К. сделал все, чтобы свести себя за время керенщины к нулю, и теперь пожинал плоды: он явственно сам себе был противен в эту памятную ночь...

Что оставалось еще? Городское самоуправление? Но «отцы города» при первом известии о начавшихся действиях сами поспешили в Совет справляться о намерениях победителя и, получив от Троцкого заверения в том, что им лично не грозит никакой опасности, и если Городской Думе не найдется, как следует ожидать, места в системе Советского строя, то конец ее будет, во всяком случае, «конституционным», без эксцессов, — совершенно успокоились и меньше всего, кажется, думали об организации борьбы.

Керенский бежал: «за подкреплениями», — как всегда в таких случаях пишется. Неудавшиеся последовать его благому примеру, остальные министры металась по городу, ища убежища от шаривших по присутственным местам броневиков, и укрылись, наконец, в Зимнем, занятом тысячью юнкеров и насмерть перепуганными ударницами женского батальона, вызванными на Дворцовую площадь под предлогом парада и, вместо того, попавшими... если и не в «дело», то, во всяком случае, в переделку...

С'езд должен был открыться днем: кворум был давно уже на-лицо, к утру еще в мандатной комиссии было заре-



гистрировано 663 делегата, — цифра, превзошедшая все наши ожидания, так как выборы на С'езд шли во многих местах под полубойкотом правых социалистических партий, знавших, что станет в порядок дня этого С'езда. Но, несмотря на кворум, заседание не открывалось: большевики хотели до начала его закончить ликвидацию Временного Правительства и поставить, таким образом, С'езд перед непоправимо совершившимся фактом.

Фракции С'езда, со своей стороны, тоже не торопились. они должны были обсудить — со всей серьезностью, которой требовал момент, создавшееся положение и дальнейшую свою тактику.

\* \* \*

В 10 час. 45 мин. вечера в большом актовом зале Смольного, — белом от огней огромных, временем отяжеленных, хрустальных люстр, переполненном до головокружения своими и чужими, открылся, наконец, С'езд: оттягивать дольше было не-зачем. Настроения фракций определились: было известно, что правые социалистические партии, оказавшиеся в ничтожном меньшинстве, со С'езда уйдут, независимо от его программы и тактики; с другой стороны, «боевые действия» в городе шли также к концу: Временное Правительство было обнаружено в Зимнем дворце, дворец со всех сторон обложен, «Аврора» стояла уже под самыми его окнами, и долго упрямявшиеся орудия Петропавловских верков были, наконец, направлены на беспомощные стены катафалка керенщины... Дело должно было кончиться с минуты на минуту... Не «ударницам» же отвести удар, который вели уже под прикрытием ружейного и пулеметного огня Подвойский и Антонов...

Заседание, по чину, открыл, от имени старого В. Ц. И. К.— меньшевик Дан. Во вступительной речи его слышались явственно отголоски панихидного слова, сказанного меньше суток тому назад в «прощальном» экстренном заседании «Таврического»:

«Сейчас не место политическим речам... Наши товарищи, заседающие в Зимнем дворце, находятся под обстрелом...»

Есть в голосе тупая покорность судьбе. И невольно, руша напряженность, побежал по рядам, огибая искрами колонны, веселый смехок. На деле: от слов Дана так ярко представилось: там, в Зимнем, гнездо побледневших до белизны их манишек Кишкиных и Терещенок, на раззолоченных диванах былых императорских покоев жмущихся друг к другу, зажмурив глаза... Под охраною... женщин! Воистину: и смешно и противно...

— Предлагаю приступить к выбору президиума...

Аванесов подходит с готовым листком в руках:

«Ленин... Зиновьев... Каменев... Луначарский... Коллонтай... Спиридонова... Мстиславский...»

Под далекий глухой удар петропавловской пушки я поднимаюсь, вместе с остальными членами вновь избранного президиума, на прогибающийся под тяжестью толпящихся на нем, неструганный, словно наскоро сколоченный, помост... И сразу, как на скале под пенистым прибоем, волной напряжения, радостного, победного — ометывает, словно в водовороте крутящийся взмывающий криками и плеском рук, бушующий, праздничный зал.

Каменев сменяет на председательском месте Дана. Тоже радостный, праздничный. И весь он словно «в новом», «парадном», хотя на нем тот же вечный его, бессменный, при-

мелькавший за прошлые месяцы, потертый, лоснящийся по швам пиджак.

### «Порядок дня»:

«Вопрос об организации власти».

«О войне и мире».

«Об Учредительном Собрании».

— Возражений нет?

Снова глухой, далекий удар пушечный, от которого скрипит зубами приплясывающий за трибуной словно от нестерпимой, зудящей боли, «бундовец» Абрамович.

... Какие тут возражения!..

— Слово для доклада предоставляется представителю Петроградского Совета.

«Оппозиция» не слушает его: нависая за спиной председателя, она перебивает порядок дня нетерпеливым настоянием внеочередных заявлений. Каменев одинаково благодушно кивает всем, — лукаво посмеиваясь глазами из-под природой насупленных бровей — и записывает, записывает «очередь», под резкий, чеканящий голос докладчика, под жгучие взрывы рукоплесканий.

Наконец, доклад кончен. Получает слово Мартов: как всегда, упираясь в бок дрожащей, бескровной рукой, весь кривенький и юродивый, бодая взлохмаченной головой упрямое пространство — он требует мирного разрешения начавшегося конфликта. Ему жидко хлопают «свои»; демонстративно разводя руками, аплодирует на трибуне кто-то из «старших» большевиков.

Слово за мной — от имени фракции.



Я говорю о том, что с момента открытия Съезда — ему, никому другому, принадлежит суверенная власть, что не время судить — прав или неправ был Петроградский Исполнительный Комитет, собственной волей, не дождавшись властного слова Съезда, дунувший на карточный домик «Временной власти», — но дальнейшее руководство действиями должно принадлежать открытому ныне Съезду Советов. Я предлагаю, поэтому, подчинить Петроградский Военно-Революционный Комитет специальному органу, который Съезд немедленно же изберет из среды своих членов... А до того, в виду полной, бесспорной небоеспособности тех жалких кучек, которые имеет за собой бывшее Временное Правительство — левое большинство фракции социалистов-революционеров, от имени которого я выступаю, предлагает немедленно прекратить «видимость» боевых действий. Слишком ответственные, слишком велики стоящие перед нами решения, чтобы принимать их — отвлекаясь, волнуясь гулом канонады.

Слово это подхватывает Троцкий: «Кому могут мешать звуки перестрелки? Напротив! Они помогают работать». Что же до самого предложения, то большевики не возражают против включения его... в порядок дня.

Очередь — за «старым» Таврическим. Он начинается — спор «марта» с «октябрем»! Хинчук — от меньшевиков, Гендельман — от правых с.-р., — протестуют «против преступления, совершенного над Родиной и Революцией».

А воздух за старыми стенами дрожит от участвовавших ударов... Жутко перезванивают, вздрагивают в такт им высокие, чванные окна. Там за колоннами.

Партийные декларации — идеологическая прелюдия: за нею начинается позванивание оружием.

— От имени фронтовой группы С'езда,—кричит, хмурясь и пыжась, с трибуны главный центурион «правых» — Кучин: Заявляю, что фронт полностью против захвата власти...».

... — На... чальство, — презрительно доносится из рядов. — От штаба прислан... Пересвист, пересмех.

— Ты скажи, кем избран?... Видно птицу по полету!..

Но Кучин самоуверенно, вызовом, прямитя над трибуной: «Я избран на С'езде представителей всех фронтов и армий. И от имени армейских комитетов: 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, Особой и Кавказской»... — он напрягает голос до высшей, доступной его голосовым связкам угрозы — «фронтовая группа снимает с себя всякую ответственность за последствия этой авантюры и покидает С'езд. Отныне — арена борьбы переносится на места».

За колоннами яро свищут. Но все же, словно тучею темной перекрыло, на мгновение, белый, светлый, огнями играющий зал...

«Вторая... Третья... Четвертая... Особая...»

И, зорко ловя настроение зала, Каменев тотчас, не медля дольше, выпускает на трибуну уже давно переминающегося зади нас с ноги на ногу матроса с «Авроры».

Кто видел наших матросов в боевые дни — тот знает, насколько неотразимо впечатление их литых, волей напоенных фигур, короткого — насмерть, без колебаний, — бьющего жеста, — резким броском режущих воздух, прямых, не знающих изворота слов. Так и теперь. Едва над кафедрой взметнулась плечистая, гибкая фигура, красуясь волосатой крутой грудью, под расстегнутым бушлатом, и приветственным жестом закрутились над кудрявой головой георгиевские

ленточки «Авроры», — зал дрогнул от приветственных криков. Иступленно, словно отгоняя накликаемый было Кучиным черный призрак — С'езд тянулся к фигуре этой, вставшей перед нами символом победного восстания... «Да здравствует революционный флот!»

«Зимний кончается. „Аврора” стреляет по нем без малого, что в упор!»

«О-о-о!», — стонет, заламывая руки, у самых ног матроса, бледный, с ошалелыми глазами, Абрамович. И, отзываясь на этот жалкий стон — великодушным и неподражаемо-бесшабашным жестом — аврорец успокаивает его, добавляя громким, дрожащим от внутреннего смеха, шопотом:

«Холостыми стреляем».

С них — министров и ударниц — хватит и холостых...

. . . . .

Но снова злоеющим шипением прозревают настроение зала новые декларации — «правых». Истерически зовет Абрамович С'езд к Зимнему дворцу, куда решила идти — «погибнуть вместе с Временным Правительством» группа бундовцев, выславшая его на трибуну. Заявляют о своем уходе со С'езда и меньшевики и «правые» — отныне отмежевавшиеся от нас — эсеры и еще, еще какие-то группы из «маленьких».

И все резче, все наглее угроза «фронтowymi» и «взрывом народного возмущения», «неизбежного... в итоге этого беззумного и преступного шага»... Так формулируют эсеры...

Верят они себе или нет — но они пытаются глумиться: «Радуйтесь, радуйтесь. Ваша победа — на час! Разве не виден перст судьбы уже в том, что Керенский ускользнул от броневиков и пикетов Военно-Революционного Комитета, —



один из всех министров. Единственный, которого вам стоило ловить! Но вы его упустили. И пока вы здесь тешитесь хлопанием и свистом — он идет уже на Петроград, он близится уже к его заставам — во главе спешащих «на спасение Революции» с фронта, верных Временному Правительству войск».

«Вторая... Третья... Особая... Сколько их насчитал Кучин? Напомнить?... В одних окрестностях — в Гатчине, в Красном, в Петергофе — за Керенским 40 тысяч штыков. А у вас? — Оглянитесь, подсчитайте свои силы»...

И снова, тем же приемом парируя, психологически, удар, уже захолонувший было «предчувствиями» души более робких, — встает на трибуне — без жеста — спокойный, прямой, сухой, костистый — без нервов, весь из сухожилий и мышц, затянутый в солдатскую защитную блузу — латышский стрелок, Петерсон. — Они тронулись уже, фронтовые латышские полки! — Они идут на переимы, в тыл войскам Керенского. И раньше, чем он успеет собрать свой дух, растерянный на бегстве — он окажется между двух огней, недоношенный диктатор... Если уже не оказался...

Ибо — уже теснятся к трибуне, по тихому вызову Каменева — представители гатчинских войск, войск царскосельских. Живою, стальной оградой стать на пути подкреплений «временщику» — как стали они в дни свержения царской власти — обещаются, клянутся гарнизоны...

И снова в зале радостно и светло. И сторбясь, волоча ноги, словно придавленные, выбирают из рядов жидкими вереницами эсеры и меньшевики... «Март» уходит...

Сзади помоста трибуны, у сырой, свежее выбеленной, пачкающей стены, я вижу прижавшуюся к ней сиротливую,

скорбную, словно судорогою сведенную фигуру Мартова. Мутно глядя сквозь скривленные стекла пенсне на затоптанный, забросанный окурками пол, он все еще упорно и наивно ждет, когда станет, наконец, на очередь его «внеочередной вопрос».

Но вместо него — решающая весть: дворец взят. Весь состав Временного Правительства арестован и отвезен в крепость. Самосудов удалось избежать — целы и юнкера и министры.

Мартовцы торопливо отрясают прах от ног своих и оставляют зал... догонять бундовцев и эсеров... Наша фракция удаляется на совещание. Я снова занимаю свое председательское место за столом.

Но о чем, в сущности, совещаться? Путь ясен. Партия — до последнего человека — не может, не смеет в данный момент отойти, оторваться от масс. И если — как мы ждем, как мы знаем, — на два непримиримых, смертно-враждебных стана разрежет стеною баррикад Россию сегодняшняя ночь — мы не были бы революционерами, если бы искали, где наше место... Хорошо или плохо — лук натянут... предатель тот, кто толкнет под руку стрелка: переменять прицел — поздно...

Уже под утро — в 6 часов (дрожит в окнах белесый, хмурый рассвет) принимает С'езд декларацию «рабочим, солдатам и крестьянам»...

«Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, Второй Всероссийский С'езд Советов Р. и С. Д. берет власть в свои руки.

«Временное Правительство низложено. Большинство членов Временного Правительства уже арестовано.

«Советская власть предложит немедленный демократический мир всем народам и немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проводя полную демократизацию армии, установит рабочий контроль над производством, обеспечит своевременный созыв Учредительного Собрания, озаботится доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в деревню, обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на самоопределение...

«С'езд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок.

«С'езд призывает солдат в окопах к бдительности и стойкости. С'езд Советов уверен, что революционная армия сумеет защитить революцию от всяких посягательств империализма, пока новое правительство не добьется заключения демократического мира...

«Солдаты, рабочие, служащие! в ваших руках судьба революции и судьба демократического мира.

«Да здравствует Революция!...»



ГПБ Русский фонд

17.140.3.231

194  
а